

Любовь Боровикова

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



Любовь Боровикова
День рождения

«ЦГИ Принт»

2014

УДК 832
ББК 84Р1-5

Боровикова Л. М.

День рождения / Л. М. Боровикова — «ЦГИ Принт», 2014

Для Любви Боровиковой, автора книги «День рождения», нет безусловной границы между поэзией и прозой. Ей привычно и в том, и в другом пространстве. Своеобразие данной книги – в простоте, с которой автор пересекает жанровые границы. Но простота эта не легковесна, она подчиняется трудно доставшейся мысли.

УДК 832
ББК 84Р1-5

© Боровикова Л. М., 2014
© ЦГИ Принт, 2014

Содержание

Голос флейты	6
Дереву на улице Заморёнова	10
День рождения	12
Рассвет	15
Квитанция судьбы	16
«Душа встречается с судьбой...»	21
Белая корзинка	22
«Неужели такое бывает?..»	24
Тая и Рая	25
Дождик	27
Дом с левой стороны	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Любовь Боровикова

День рождения

© Боровикова Л., 2014

© Центр гуманитарных инициатив 2014

* * *

Голос флейты

Эта книга о том, чего не увидишь глазами и живое ощущение чего и есть жизнь. И рассказ, открывающий книгу, давший ей имя, об этом – как встречаются человек и его душа.

Никаких мировых событий, ничего, что вошло бы в историю. Все так скромно, так, казалось бы, незначительно. Всего-навсего коммунальная квартира, в которой живут три семейства. Огромная кухня с тремя столиками, длинный коридор – и атмосфера отравленного воздуха, безвоздушья, безвременья, в котором пытается жить пятилетняя девочка. «Я думаю, тревога, не оставлявшая меня в то время, была и не тревогой даже, а тоской, немой тоской зверушки, попавшей в место, где не хватает воздуха, где жарят-парят-ненавидят, а дышать не принято, не обязательно».

Всего только коммунальная квартира, но не мини-картина ли это мира?

Однажды девочка осталась в квартире одна, обошла ее, «вошла в кухню – она казалась еще просторнее в мутневших на глазах февральских сумерках, еще привычнее и скучней. И тут как-то сразу я поняла...» Что поняла? Да вот это – что дышать не дадут, что так все и будет и что *это* – правда.

«Правда сейчас и здесь, в темноте, на кухне, где пахнет хлоркой и жареным луком (соседка Юля, когда наступала ее очередь мыть полы, обычно добавляла в воду хлорку). А утром, как обычно, Нина Семенна будет жарить-парить и полнозвучно ненавидеть. Так было каждый день, а по-другому не было, не будет. „Будет“, – без промедления ответил мне печальный голос, ответил вслух».

Девочка не понимает, что это за голос, откуда он льется: «Светлейшая вода текла в обход всего, что требует усилий, понимания, внимания, – (а это по радио исполнялась „Мелодия“ Глюка из „Орфея и Эвридики“). – И я в одну секунду навек доверилась тому, что доносилось из глубины квартиры».

Да, маленькая героиня «Дня рождения» жила в карантине, безвоздушном пространстве тоски и тревоги. Но срок пребывания в карантине закончился: «Смешно и думать, что прохладный голос уйдет и не вернется. Я знала твердо, знала совершенно точно: с этого дня он будет жить во мне неприкосновенно».

Произошла великая, определившая всю жизнь встреча. Детское сердце перевернулось. Оно открылось, и в нем навсегда поселилось знание, что любовь, жалость и доброта – *есть*, существуют. И что это и есть жизнь.

Вот перед нами другой рассказ, «Квитанция судьбы». Это рассказ о любви – такой огромной и одновременно такой деликатной и тихой, что существо, которое эта любовь заполняет, кажется прозрачным, переполненным духом, который вот-вот поднимет его на воздух, понесет над землей, и оно полетит, легко, без усилий, словно воздушный шарик или как ангел, ставший вдруг видимым и светящимся.

Любимый не знает, что он любим. Но героиня рассказа ведет себя так, что ему удивительно хорошо с нею. Она не отнимает у него простор, а вносит его с собою. Кажется, чем больше ее, тем больше простора вокруг. Но любит ли он? Этого она не знает. И вот неожиданно ей привелось увидеть нечто такое, что заслонило собою все, даже любимого. Настал час, когда она отвлеклась от него, потеряла из виду. Когда заглянула далеко-далеко, немислимо далеко: в бесконечность. Это было, когда ее милый показал ей Гору: «Соня прекрасно знала дорогу на Гору, но что такое сама Гора, не представляла: едва завидев старую избушку, где жил художник, она переставала замечать все остальное. И вот сейчас, когда они остановились наконец возле седого от лишайниковых пятен валуна и голос милого сказал: „Теперь смотри“, – Гора открылась ей.

Внизу, под их ногами, дышал зеленовато-синий древесный океан с бегущими по нему золотистыми прожилками, в багряных крапинах. Он простирался вплоть до горизонта, а там, на горизонте, виднелись, как заметил дальнзоркий Сонин милый, шлюзы великой северной реки. „Ну что ж, летим?“ – после молчания спросил художник. Соня только кивнула. Она давно уже взлетела, древесные валы несли ее куда-то к горизонту. И не было силы, которая могла бы оборвать полет, не дать упругим струям обтекать утратившее плотность тело. Даже художник оказался позади, Соня уже не видела его».

Вот как – не видела, хотя до сих пор одного его и видела. Оказалось, не он был центром и смыслом ее жизни, но сама любовь. И он не сумел вместить такую любовь. Было страдание. Были семь лет, о которых в рассказе ни слова, прочерк. А через семь лет – случайная встреча с охотником из Мытищ, невольным свидетелем Сониных странствий, ее путешествий на Гору. Он был человеком как будто не очень заметным, но Соню – заметил, и на всю жизнь.

«„Дружок, ты похудела“, – сказал он ей, ничуть не удивившись, как будто они виделись недавно, неделю-полторы назад. Сказал он это так просто, так свободно, что Соня поняла (хотя, сама не зная почему, ни разу за семь лет не усомнилась в этом): он всё помнит. Помнит о протекавших сапогах, о стеклышке в чулане, о море глины, через которое провел их с бабкой, забрав себе их ношу. Внимательно, не отвечая, не улыбаясь она смотрела на него и видела перед собой любовь – ту разрезающую сердце бесконечность, тот горизонт, ту синюю черту, к которой, как на родину, летела ее душа».

Вот она, ее родина, с которой она встретилась в пять лет, которую не забывала никогда. У нее и у этого человека оказалась общая родина.

А про те семь лет никому не открытого горя – один намек. Маленький, всего-то на страничку рассказ «Тоже думку думаешь?». В жизни его героини была стена, вдоль которой ей было велено кем-то идти, стена бесконечного горя. «И я иду – час за часом, за шагом шаг, при любой погоде. Иногда, очень редко, во сне, стена исчезает, и тогда я начинаю жить – дышать, глядеть, вбирать изо всех сил украденное ею. Но и во сне я понимаю: это ненадолго, сейчас она появится». И однажды возле этой стены, этой тянущейся безысходности, незнакомый, чужой совершенно голос вдруг произносит – «мягко так, по-домашнему: „Тоже думку думаешь?“»

«...Стена горя, вдоль которой меня когда-то обязали идти, не дрогнула, не сместилась ни на йоту. Но что-то явно выкрошилось из нее, и на месте, где это случилось, образовалось отверстие – еле заметное, как тюремный глазок. А в нем наяву, не во сне виднелось грифельно темное, талое мартовское небо. Белые махаоны веяли в нем, то приближаясь к лицу, то отлетая. И можно было не торопясь, долго дышать ими, вбирать без помехи снежно-капельный запах и вкус».

Как немного, в сущности, нужно живому сердцу. И это едва заметное, малое всегда рядом с нами, надо только заметить его и откликнуться на него. «День рождения» и есть такой на удивление правдивый и внятный отклик.

Еще один рассказ, «Тая и Рая». Две крестьянки, у каждой корова – кормилица и опора жизни. У старой Таи – добрая, смиренная Дочка, у Раи – злющая Чайка, однажды едва не затоптавшая старую Таю насмерть. Так случилось, что Рая лишилась своей разбойной буренки (пьяный муж за бутылку продал). И вот автор видит в окошко словно самой жизнью поставленную сцену.

Бредет по деревенской улице осиротевшая Рая, а навстречу ей – Тая (женщины не встречались с того злосчастного дня, когда дурная Раина Чайка швырнула Таю на землю и топтала, пока не подросла помощь). Заметив убитую горем Раю, Тая бросается к ней и... «Какое горе, какое горе! – громко, на всю деревню причитала Тая, и плакала, и обнимала ту, из-за которой едва не погибла».

Это зрелище, этот скорбный рефрен заставляют автора вспомнить античную драму с ее хорами всепонимающих плакальщиц. И прежде всего «Антигону», героине которой мир обя-

зан словами, «благодаря которым жизнь возможна, любая жизнь: „Я рождена любить, не ненавидеть“».

Эти слова, может быть, лучший эпиграф к книге, которую вам предстоит прочитать. Написавший ее человек многое знает. Знает, какая тьма, какой ад существуют в мире, лежащем во зле. Но и другое он знает: выход возможен. Можно пробить стену горя и обнаружить просвет. И в тоскливых февральских сумерках, заполонивших пустую коммунальную кухню, можно услышать голос с небес. Из Царства, которое не от мира сего, но благодаря которому только и можно жить, оставаться живым.

«Жалеть божественно, – пел голос. – Жалеть и жить – почти одно и то же. Когда-нибудь ты пожалеешь даже хозяйку карантина, мешавшую тебе дышать <...>. Но жалость не единственная правда из тех, которые идут к тебе сейчас. Ты будешь узнавать их незаметно, не сразу, то там, то здесь – в задумавшихся глазах чужого человека, в горячем солнечном пятне на потускневшей от старости березе, в домашней дудочке кукушки после жестокого, бессмысленного спора, в небесном шорохе дождя».

И так же органично, так же легко, как этот дождик, перетекает, возвращается в стихи настоящего, по самой своей природе поэтичная проза Любви Боровиковой:

Летний дождик ходит-бродит,
шелестит едва-едва
и на память мне наводит
чьи-то давние слова.

Только чьи они, откуда,
кто так просто их сказал?
Невзначай набрел на чудо
и по имени назвал.

Кто расслышал в каплях с неба
детством веющую весть
и пошел за нею следом,
а далёко ли – Бог весть?

Летний дождик ходит-бродит,
ворожит и бережёт.
Недоверчивых обходит,
прочим радость раздает.

Есть в книге «День рождения» и несколько эссе о литературе. Одно из них, посвященное Гончарову, автор назвал «Солнечная полоса». Глубоко символичным кажется мне это название. Солнечная полоса – черта, переступить которую злу не дано. За нею душа защищена и обретает свободу и покой. За нею те, что рождены любить, не ненавидеть. За нею – правда. За нею – поэзия. Не Гончаров ли, милый сердцу автора «Дня рождения», вложил в уста своего робкого Обломова исповедально мощные слова: «Жизнь есть поэзия»?

Тот, кто расслышал голос флейты, – постиг власть подлинной поэзии, узнал ее исток. Бог – поэт наивысший (Тагор).

Рассветный голос флейты, рассеивающий тьму, вводящий в царство, которое внутри нас...

Мне хочется, чтобы звучанье этой книги, ее голос были услышаны.

Зинаида Миркина

Дереву на улице Заморёнова

Жизни мертвенный холод и тихую, чистую милость,
непостижимость их существованья бок о бок
чувствую, сколько живу в этом мире, наверное с детства.
Но иногда так ясно чувствую это,
что начинаю видеть, видеть и слышать.

Старое дерево в полдень на перекрестке.
Лето. Горячее небо цвета бензина.
Верхние ветви соседствуют с авторекламой,
нижним досталась решетка на окнах сберкассы.
Ствол, перетянутый сетью узлов и наростов,
больше похож на древесное дикое мясо.
И ни глотка тишины, ни секунды покоя –
шарканье, выхлопы, грохот бетономешалки...

Господи! Есть ли хоть что-нибудь в этой пустыне,
что бы на зов Твой ответило: «Вот я, Создатель»?
И задрожала душа – дерево боли
явственно прошелестело: «Я существую.
Вот они, ветви мои и увечья, перед тобою».

Вправду ли дрогнула крона, но всё изменилось:
не было больше удушья, рассеялся грохот.
С благоговейным, почти беспощадным вниманьем
сердце смотрело – и въяве, воочию видело чудо.

Старое дерево в полдень на перекрестке,
ты, чья работа – прохлада, а родина – небо,
чье назначение – жизнью входить в неживое,
свежестью небытие в бытие возвращая, –
ты и теперь, изувечено старостью, съедено пылью,
тенью встречаешь меня, безымянное диво.

Ты – безымянное?! Медом соцветий дохнула
липа моя, от вечерней зари золотая;
бриз заплескался в разбуженных вязах Лоррена
(с целое небохранилище каждая крона);
сосны Сезанна, как в землю, вонзились ветвями
в огненно-синюю соль средиземного неба...

Всё это ты, о тебе – все деревья на свете.
Всё это листьев твоих переплеск и дыханье,
кладези радости, нежности быстрые реки...
Сколько я видела их, скольким сердце мое улыбнулось,
столько имен у тебя. А последнее имя,

обыкновеннее всех и любого дороже, –
старое дерево в полдень на перекрестке.

День рождения

Григорию Померанцу

Я родилась в полном одиночестве, ближе к вечеру, на кухне, рядом с коридором. Хорошо помню, как это было. Любой зверушке хочется понять, куда она попала, и я в свои пять с половиной благодаря зверушечьему зрению и слуху, а также природной любознательности кое-что знала о месте своего обитания. Но с некоторых пор это «кое-что» больше тревожило меня, чем удивляло. Как будто надвигалась полосой тумана какая-то опасная, ненужная мне тайна, а убежать от нее или хотя бы поделиться страхом перед ней не удавалось. Во-первых, с кем делиться? А во-вторых, как говорить о том, чего не понимаешь?

Но были и простые, понятные вещи в моем затуманенном существовании. К примеру, наша коммунальная кухня – просторная, размером с небольшую площадь. Неподалеку от окна была плита, вдоль стен – три кухонных стола с полкой для утвари над каждым. Ближним к плите был стол Нины Семенны; вся полка над ним была заставлена крепко сияющим металлом кастрюль и сковородок. Напротив было наше место, наш стол с клеенкой в желтенькую клетку и парой подгоревших ковшиков. Третий стол, возле двери, был просто серая доска. Принадлежал он третьей из соседок, почти не заходившей на кухню, и полка над ним пустовала.

Под широченным кухонным окном располагался ничейный шкафчик. Его неплотно закрывавшиеся дверцы скрывали нишу, куда убирались на ночь кастрюли и сковородки. Этот старинный аналог холодильника был нашим с сестрой другом: во время блиц-набегов на пустую кухню (нам вечно до смерти хотелось есть) мы извлекали оттуда чугунную сковороду с любимым лакомством – вчерашней жареной картошкой. Одна таскала соленые промасленные ломтики, другая караулила, и, как ни странно, нас ни разу не застали за этим черным делом.

Коридор – длинный, как тоннель, метров семнадцать-двадцать – тоже был хорошо знакомым, дружественным местом. Там, как положено, висели на крюках велосипеды и санки, и, если нам удавалось упротить добрую Лильку, соседку-шестиклассницу, покатавать нас, она снимала санки со стены и, к полному восторгу седоков, тащила их по коридору, взявшись за толстую веревку для белья. А еще в нашем коридоре стояло пианино, принадлежавшее матери Лильки, Нине Семенне, хозяйке образцовой коллекции кастрюль и сковородок.

Но не одними сковородками владела и распоряжалась Нина Семенна: она была хозяйкой по призванию, по сути. И это понималось сразу, в одну минуту. Где бы ни обреталась Нина Семенна – на кухне, в ванной, в коридоре, – всё тут же признавало ее власть и отдавалось в ее руки.

К ее услугам были две лучшие конфорки из четырех, и столик близ плиты, и ниша под окном (место для чьей-то вчерашней гречки приходилось брать с бою: всё было занято ее великолепными борщами и котлетами). И Вовка, ее великовозрастный, со странностями сын, терзал расстроенное пианино не в их большой и мрачноватой, заставленной шкафами комнате, а в общем коридоре, прямо напротив двери нашей безгласной соседки номер три.

Но плотной, низенькой Нине Семенне с ее по-беличьим блестящими глазами и двумя валиками надо лбом, стянутыми на затылке в крепкий кренделек, принадлежали не только вещи. Ей подчинялся ее муж, огромный человек без ног, бывший военный летчик. Это ему предназначались нечеловеческие порции борща и истекающие кровавым жиром отбивные. Когда он шел по коридору в скрипучих, перетянутых ремнями протезах, все замолкало, хотя он никому худого слова не сказал. Да и вообще – сказал ли он при нас хоть слово? Не помню, кажется нет. Все бури, поднятые Ниной Семенной, гремели без него.

Это она кричала «сволочь!» великовозрастному сыну, и стены начинали резонировать, а Вовку вскоре очередной раз забирали в Кашенко. Для Лильки у этой энергичной женщины

были другие интонации: холодные, певучие, отчетливые. «Ну, гадина, – полнозвучное контральто Нины Семенны, напутствовавшей Лильку в школу, мгновенно разносилось по квартире и отдавалось эхом на нижнем этаже. – Попробуй задержишься хоть на минуту».

Таким же точно голосом она обменивалась с мамой соображениями о третьей из соседок, невидимой-неслышимой Юле с ее туберкулезным сыном. Он постоянно лежал в больнице, Юля навещала его, и этого было достаточно, чтобы Нина Семенна возненавидела ее. Мы то и дело слышали – то в кухне, то в коридоре или ванной – уже привычное холодное, певучее: «Ну, гадина. Да как же она смеет жить рядом с людьми». И ей никто не возражал, как будто впрямь мы были люди, а тихая седеющая Юля – нет.

Я думаю, тревога, не оставлявшая меня в то время, была и не тревогой даже, а тоской, немой тоской зверушки, попавшей в место, где не хватает воздуха. Где жарят-пряят-ненавидят, а дышать не принято, не обязательно.

Жилось мне и дышалось только возле бабушки, но она проводила с нами часть недели и уезжала к себе в Перово. Вечер ее отъезда был страданием, которое я помню до сих пор, но что было делать? И что бы я могла сказать ей? Лет эдак через двадцать я узнала, что означает слово «экзистенциализм», но, видно, дети кожей чувствуют такие вещи – и глубину, и холод.

В одно из воскресений родители с сестрой ушли куда-то – наверное в гости, а у меня болел живот, и потому меня оставили лежать и ждать их возвращения. Как только всё затихло, я пошла гулять по обезлюдившей квартире. Сначала прошлась по нашим комнатам, большой и маленькой, в которой умещались только старый круглый стол и низкая кушетка, обитая темно-зеленым плюшем. Потом отправилась бродить по коридору. Дверь во владения Нины Семенны была закрыта наглухо, как запечатана. А до соседки Юли, до ее комнаты в дальнем конце коридора, рядом со входной дверью, я не добрела (видимо, вполне усвоив заповедь «чем меньше там торчишь, тем лучше»).

Вошла на кухню – она казалась еще просторнее в мутневших на глазах февральских сумерках, еще привычней и скучнее. И тут как-то сразу я поняла, что тайное, чего я так боялась, пришло. Оно настигло меня, оно здесь, я уже внутри, в той самой полосе тумана. И всё, что вижу – сумерки цвета сырой извести, высокий из серой гранитной серой крошки подоконник, плита с не убранной в шкафчик сковородой, наша потертая, в клетку, клеенка – всё это есть на самом деле, всё это *правда*. А другой правды – той, которая существовала бы рядом с этой или параллельно, – нет, ее не бывает. Сказки – они живут, пока их слушаешь, а когда бабушка начинает собираться и уезжает, они становятся хуже неправды. Правда сейчас и здесь, в темноте, на кухне, где пахнет хлоркой и жареным луком (соседка Юля, когда наступала ее очередь мыть полы, обычно добавляла в воду хлорку). А утром, как обычно, Нина Семенна будет жарить-парить и полнозвучно ненавидеть. Так было каждый день, а по-другому не было, не будет.

«Будет», – без промедления ответил мне печальный голос, ответил вслух.

Ошеломленная, не веря собственным ушам, я все же обернулась, сперва лицом, потом всем существом, к границе между кухней и коридором. Именно оттуда, из темного дверного проема, шел свет, и звук, и он же голос.

Как описать его? Он ничего мне не напоминал, я никогда не слышала его и ничего о нем не знала. Он был прохладный, долгий, и он дышал. Тогда я задышала вместе с ним – быстрее, быстрее, – боясь, что он затихнет, уйдет как не было и я останусь одна на свете.

В нашей квартире не жаловали музыку, а то, что вытворял громила Вовка со старым коридорным пианино, музыкой не назвал бы даже пьяный. Что сейчас текло мне в сердце, в грудь – прохладно, чисто, безмянно? Что непрерывно подступало к горлу, даря зверушку, человеческого упрямого детеныша, таким покоем, такой немислимой свободой? И такой печалью?

Я не умела пользоваться речью, но это было и не нужно.

Светлейшая вода текла в обход всего, что требует усилий, понимания, внимания. И я в одну секунду навек доверилась тому, что доносилось из глубины квартиры, оттуда, где обитала наша третья соседка (убедившись, что повсюду пусто, она, должно быть, решила в кои-то веки проветрить комнату, и дверь в нее наверняка была открыта настежь).

А голос – это была флейта – пел и пел, но я уже не трепетала мелкой дрожью: сейчас, сейчас всё кончится и я очнусь в потемках между плитой и подоконником, между гранитом и металлом, между сегодняшней и завтрашней тоской.

Это уже не про меня. Да, я жила в карантине, его хозяева не открывали окон, и срок казался мне бесконечным, но он окончен. Смешно и думать, что прохладный голос уйдет и не вернется. Я знала твердо, знала совершенно точно: с этого дня он будет жить во мне неприкосновенно, как голос бабушки, и я всегда его услышу. Всегда, в любое время, стоит прикрыть глаза.

«Жалеть божественно, – пел голос. – Жалеть и жить – почти одно и то же. Когда-нибудь ты пожалеешь даже хозяйку карантина, мешавшую тебе дышать (да, так и будет. Через много-много лет я застану в доме матери нечаянную гостью – седую низенькую женщину с красными веками, которая певучим плачущим шепотом произнесет мое младенческое имя).

Но жалость не единственная правда из тех, которые идут к тебе сейчас. Ты будешь узнавать их незаметно, не сразу, то там, то здесь – в задумавшихся глазах чужого человека, в горячем солнечном пятне на потускневшей от старости березе, в домашней дудочке кукушки после жестокого, бессмысленного спора, в небесном шорохе дождя.

Но безошибочней всего ты будешь узнавать их в слове. Таким, как это, например: „Дозволено, дозволено живому, и не во сне, как я бывало думал, – дозволено вкусить при жизни счастье“¹. Или вот это: „Я никогда не умел петь как следует, но всегда знал, что существует один-единственный тон – чистый“². Или...»

Флейта замолкла – и вдруг вернулась, запела снова. Какое счастье! «Глюк³,– объявил суровый баритон. – Мелодия из оперы „Орфей и Эвридика“».

И я очнулась в темноте, не постигая, как я сюда попала, как очутилась здесь – на нашей старой кухне, непонимающе разглядывая место, где только что, сию минуту появилась, пришла на свет.

¹ Джакомо Леопарди. «Консальво». Перевод А. Наймана.

² Слова пастора Иоуханна из «Брехкукотской летописи» Халлдора Лакснесса.

³ Глюк – по-немецки «счастье».

Рассвет

Свет приходил и опять уходил,
медленно так возвращался,
словно усталое сердце будил,
заговорить с ним пытался.

Пел, как поет одинокий рожок:
«Больше не будет разлуки!
Не изживается нежности срок,
не покоряется муке.

Веришь ли?» Верю. А разницы нет,
чье это издали пенье –
флейта ли Моцарта, утренний свет...
Радость, прохлада, прощенье.

Квитанция судьбы

Один поэт-мудрец назвал вещи «квитанциями судьбы»: «Вещи вещие, вещички, вы квитанции судьбы...»⁴. Ну да, расписка со странной подписью, чучело чайки, перчатка с левой руки, оказавшаяся на правой... Мало ли таких, от провидения, квитанций и в жизни, и в литературе! Но я знаю историю одной совсем обыденной, обычной, ширпотребной вещи, которая за полминуты переменяла навсегда жизнь близкого мне человека.

Когда-то, давно, Соня попала в северную деревню, неподалеку от монастыря со знаменитыми фресками. Но отправилась она туда не ради фресок, а вослед за милым – он был художник и писал там осенью свои этюды. Милый ее ни о чем не знал – ни о том, что любим (они с Соней были просто хорошие приятели), ни о том, что добрая его приятельница здесь, в полтора часах ходьбы от него. Да и откуда было ему знать? Соня, снявшая у местной бабушки крошечный чулан со стеклышком на озеро, несколько дней бродила вокруг деревни, собираясь с духом. Больше всего на свете она боялась выдать себя, поскольку за ее художником, хотя он вовсе не был Дон Жуаном, тянулся длинный хвост Любостей, которые он умудрялся каким-то образом не замечать.

И вот в один прекрасный день ли, полдень Соня отправилась на Гору – так назывался очень высокий и просторный холм в лесу, издавна облюбованный художниками. На одном из поворотов ведущего наверх лесного коридора, которым обреченно, не чуя ног под собой поднималась Соня, вдруг что-то сильно толкнуло ее в грудь. По инерции она прошла еще, остановилась, оглянулась – и обомлела. В двух метрах от нее стояло огромное оранжевое *древо* (назвать это явление иначе не получалось). Это была рябина с позеленевшим от старости стволом. Поодаль, там и сям, виднелись такие же невероятные растения. Густой горячий свет от них воспламенял листву ближних берез, пылал сквозь хвою, ложился на дорогу. А на дороге между тем стоял художник и с изумлением смотрел на Соню. И Соня даже не успела испугаться, услышав: «О Господи, да это Соня!» А следом, тоже с изумленьем, она услышала свой собственный, вполне живой, житейский голос: «Ну да, как будто я».

Радость художника скорее всего объяснялась тем, что Соня, как и сам он, была не слишком разговорчива, молчать умела с кем угодно и сколько угодно. Кроме того, у нее была привычка незаметно исчезать, чем она с первых дней знакомства расположила к себе замученного обожанием художника. Ее он не боялся, не зло подшучивал над ней, интересуясь, например, как же она снимает и куда прячет на ночь свои крылышки (за худобу и молчаливость Соню прозвали ангелом).

Так началось неведомое миру и ни единой в нем душе Сонино счастье – одинокое, кто б знал какое одинокое. Она запечатала его семью печатями, продумав целую систему ограждений и укреплений, главным из которых был запрет видеть милого чаще двух раз в неделю. Три дня разлуки и на четвертый – встреча. Этот самозапрет был непреложен, и Соня ни разу (за исключением одного-единственного случая) его не отменила.

Так и пошло. Три дня вне жизни, зато на утро дня четвертого жизнь возвращалась – с такой силой, что Соня с трудом выдерживала ее натиск.

«Опять, что ль, не спала? – взглянув в задымленные от бессонной ночи Сонины глаза, ворчала бабка Шура, ее хозяйка. – Неужто за день не набегалась?»

И правда, в свои пустые дни Соня ходила до изнеможения. Однажды она обошла за день озеро, на берегу которого стояла изба с ее чуланчиком. Оно было одним из настоящих, известных северных озер, и Сонин милый не поверил, когда она упомянула о своей многокилометровой прогулке.

⁴ Вадим Богословский. «Сто стихотворений», Плейда-Пресс, 2013.

Как ни странно, прожить трехдневный срок больше всего помогала Соне ее хозяйка. Соня пришлось ей по душе: бабка Шура звала свою нетребовательную жилицу то *болгъишхой*, то *дитятком роженным*, кормила рыбниками, поила вечерами крепким чаем с рафинадом. А Соня копала с ней картошку, мыла на озере половики, ходила за три километра в соседнюю деревню в магазин. В хорошие минуты бабка припоминала местные частушки. Одну из них Соня запомнила мгновенно: «Как на наше сине озеро да пал белый туман. Приключилось с девкой горе: полюбился ей цыган» (говорили, что ее художник – вылитый цыган, хотя он им, конечно, не был).

Вообще чуткость мрачноватой, властной бабки казалась Соне чудом. Бабка была не только истинно, по сути, от рождения добра – она была еще и прозорлива. Ругательница, матерщинница, она ни разу не задела Соню за живое, не задала ни одного ненужного вопроса. Но золотое сердце бабки от боли не спасало. Ни от боли, ни от того, что хуже боли: необходимости ждать, постоянно, днем и ночью, ждать, считать часы. Три дня без воздуха, и каждый жесточе, безнадежней предыдущего...

И все же Соня не чувствовала себя несчастной. Во-первых, была бабка. А во-вторых, была в ней, в этой жизни, красота, не отпускающая, если хоть раз по-настоящему ее увидишь. Есть в многочисленном семействе фиалок такая разновидность – *фиалка пренебрежённая*. Такою вот пренебрежённою фиалкой была природа здешних мест.

Однажды бабка предложила Соне *сползать* с ней за грибами (бабка хромала, привлекала ногу). Когда они довольно далеко уже ушли от дома, Соня обернулась – взглянуть на озеро издалека. То, что открылось ей, никто бы не назвал картиной или видом; виденье – вот что это было. Зеркало чистейшего мягко-грифельного цвета покоилось в тумане, среди синеющих холмов. И на обратном пути, пробродив с бабкой полдня, Соня видела все те же низкие холмы и зеркало меж ними, в которое гляделась их деревня – полтора-два десятка черных изб на берегу.

Между тем Сонин милый начал всерьез сердиться на нее. Соня была хорошей собеседницей – внимательной и точной в слове, – и наслаждающийся одиночеством художник все чаще ловил себя на том, что, провожая Соню, он мысленно уже возобновляет разговор, подыскивает и перебирает аргументы. И наконец он прямо попросил свою малообщительную спутницу бывать на Горе чаще, хотя бы через день: «Ведь ты ж не каждый день копаешь бабкину картошку!» На Сонино: «Но вы работаете, я вам помешаю» последовало быстрое, отрывистое, как приказ: «Ты никогда мне не мешаешь! Ты помогаешь мне. Всегда».

Знал бы художник, как доставалась Соне ночь после «ты никогда мне не мешаешь». Она набросила на одеяло шаль и куртку, но ни теплее, ни спокойнее от этого в чуланчике не стало. Разросшееся вдруг, заполнившее всю грудную клетку сердце стучало странно, трудно, как чужое, и повторяло – десятки, сотни раз, бесчисленно повторяло: «ты не мешаешь... помогаешь мне... всегда».

С этим «всегда», пульсирующим во всем теле, Соня проснулась. С ним же месила грязь на утренней дороге в соседнюю деревню и обратно: у них с бабкой внезапно кончились мука и хлеб. Как быть со словом, перекрывающим всю жизнь? Или случайным?

Наверное, поэтому Соня так растерялась, увидев в пустынной бабкиной избе кучу народа. Пятеро-шестеро мужчин в болотных великанских сапогах расхаживали как у себя дома по древним бабкиным половикам, отхлебывая на ходу из бабкиных парадных кружек. Рюкзаки были свалены в углу, там же стояли ружья. Тут только Соня вспомнила, о чем ей толковала бабка накануне.

Она ждала приезда какого-то охотника по имени Евгений. Этот Евгений, или Женя из Мытищ, был неизменным персонажем бабкиных историй. Она любила его словно сына, даже больше. Ее родные сыновья, живущие кто где, не навещали мать годами. А Женя – «дитятко мое роженое!» – тот навещал ее каждую осень много лет подряд. И чего только он для нее

не делал: колот дрова, сооружал из них роскошную поленницу, чинил розетки и менял проводку, и никогда не забывал привезти новое лекарство от головы, а также дорогого чая и свежайшей пастилы.

Угадывать, который из оккупировавших бабкино жилище великанов тот самый Женя, не пришлось.

Нахмуренная, встрепанная бабка с ходу набросилась на Соню: «Чего стоишь? Выкладывай батоны! Не видишь, что ль, – приехали! Женя приехал!»

Тут в одиночестве дремавший возле печки и потому невидимый охотник приподнял голову. Без интереса, утомленно посмотрел на Соню и пробормотал: «Евгений».

Он был худой и некрасивый, с узкими плечами. Соня немного удивилась, как непохож этот невыспавшийся человек на бабкиного рыцаря без страха и упрека, но через пять минут забыла про него. И про него, и про его товарищей с их ружьями и рюкзаками. С ее реальностью они никак не сопрягались. Реальностью были художник, рябины на лесной дороге, отчасти бабка. Они – существовали, и как еще существовали. Однако вскоре Сониной реальности пришлось поджаться, потесниться, освободить место для непонятных и совершенно непредвиденных вещей.

Шел третий день с приезда бабкиных гостей, и на рассвете Соня проснулась в ужасе. Что происходит? Землетрясение? Бомбежка? Спустя минуту только она сообразила: это охотники пьют чай перед охотой и проверяют амуницию. Прорезалась и бабка. Как через грохот водопада, кому-то прокричала: «А ты чего молчишь? Не захворал ли?» И неуместно тихий, далекий, как с другой планеты, голос ответил ей: «Не разбудить бы девушку».

Что можно было разобрать, расслышать в этом адском шуме? Но Соня разобрала, расслышала. И голос она узнала, хотя, конечно, не запомнила его.

А следующим утром, утром четвертого, всегда нечаянно случавшегося дня, была Гора. И счастье. Сонин милый впервые по-настоящему обрадовался ей. Как ни смешно, он слово в слово повторил бабкин вопрос: «Ты как, в порядке? Не заболела?» И быстро, торопясь добавил: «Я почему-то ждал тебя вчера. Хотел кое-что показать, пока дожди не зарядили. Идем?»

Соня прекрасно знала дорогу на Гору, но что такое сама Гора, не представляла: едва завидев старую избушку, где жил художник, она переставала замечать все остальное. И вот сейчас, когда они остановились наконец возле седого от лишайниковых пятен валуна и голос милого сказал: «Теперь смотри», – Гора открылась ей.

Внизу, под их ногами, дышал зеленовато-синий древесный океан с бегущими по нему золотистыми прожилками, в багряных крапинах. Он простирался вплоть до горизонта, а там, на горизонте, виднелись, как заметил дальнзоркий Сонин милый, шлюзы великой северной реки.

«Ну что ж, летим?» – после молчания спросил художник. Соня только кивнула. Она давно уже взлетела, древесные валы несли ее куда-то к горизонту. И не было силы, которая могла бы оборвать полет, не дать упругим струям обтекать утратившее плотность тело. Даже художник оказался позади, Соня уже не видела его.

И ночью, стоило ей прикрыть глаза, навстречу с гулом начинали подниматься древесно-лиственные волны, одна свежей и величавее другой.

Проснулась Соня под тот же монотонный, свежий, слитный гул. Ее художник словно в воду глядел – с ночи начались дожди. «Теперь до снега поливать будет, – вслух, ни к кому не обращаясь, сообщила бабка, разжигавшая за стенкой печь. – Надо бы у ребяток коньяку отлить. Вон у них сколько, не заметят». За годы одиночества она привыкла консультироваться у самой себя и таким образом решать свои проблемы.

Коньяк, который бабка потихоньку подливала в чай, был чужеземный, дорогой, и бабка каждый раз оповещала Соню, что нету лучшего лекарства от головы, особенно когда дожди. А Соне было все равно: снег, дождь – Гора стояла на своем месте, и сердце так же твердо

знало, в чем его жизнь. Суха дорога в рай или размешиваешь глиняную кашу – какая разница? Придется, правда, отказаться от ежедневных одиноких путешествий, но Соню это не слишком огорчало. Тревога, которую она привычно избывала на ходу, стала другой. Какой, надолго ли и почему – доискиваться не хотелось. Нужно принять как должное все перемены, и – да, жить дальше.

Единственное, чего Соня никак, никоим образом и не хотела, и не могла себе позволить – это забыть, не видеть каждую минуту ту синюю черту, тот горизонт свободы, к которому всего три дня назад взлетела, вскрикнув, ее душа.

И снова наступило утро, утро обещанного дня. Ни разу не встречала его Соня такой спокойной, такой собранной. Как будто кто-то весело и твердо спросил ее: «Готова?» И она тут же, без секунды промедленья, ответила бесстрашным «да».

Как-то особенно, с прищуром, поглядывала на нее и бабка, премудрая, всезнающая бабка, которая наверняка и, видимо, давно уже все поняла и разгадала, все тайны Сониных четвертых, третьих и прочих дней.

Осталось снять с печки сапоги. Без них не обойтись: дороги, тропы – все превратилось в глиняную слякоть.

Но на привычном месте сапог не оказалось. Соня пошарила в другом углу – не было и там. Она заволновалась: «Баб Шур! Где сапоги?» «Какие сапоги? Ах да! Евгений побег с утра пораньше в Узковское, к Коле сапожнику. Говорит, девушка твоя простудится, в худых-то сапогах».

«...Зачем...» – вечность спустя проговорила Соня. «Да как зачем? – не понимала бабка. – Затем! Бойтся, что простудишься».

На следующее утро Соня пошла прощаться – и с милым, и с Горой. Отпуск кончился, ее ждали на работе. Узнав об этом, художник помрачнел. Он уже привык к их обоюдной дружеской приязни – долгим, все равно когда и где прогулкам, к разговорам, никогда не праздным, которые так хорошо перемежались с их общим понимающим молчаньем.

И вдруг он спохватился: «А как ты доберешься? С сумками? По такой грязи?» (От Сониной деревни до магазина, где останавливался городской автобус, путь был действительно неблизкий.) И тут же предложил: «Давай-ка жди меня у бабки. Я подойду к двенадцати, и мы за час прекрасно доберемся».

И вот настало завтра, день без лица и без названья, день отъезда. Вещей было немного – дорожная вместительная сумка и рюкзачок. Но в последнюю минуту бабка вручила Соне тяжеленную корзину: она полночи накануне пекла морковники и рыбники. Соня отчаянно сопротивлялась, но бабка была неумолима: «Помалкивай! Не для тебя – для матери твоей гостинец. Авось свезешь не потеряешь».

Еще один сюрприз ждал Соню, когда, уже одетая, с сумкой в одной руке и бабкиной корзиной в другой, она стояла на крыльце, прощаясь с озером, со стеклышком в своем чулане, со всем вокруг. Бабка в застегнутом на все пуговицы черном плюшевом жакете стояла рядом и смотрела на дорогу, откуда должен был с минуты на минуту появиться Сонин милый. Но его не было, и, вырвав вдруг из Сониной руки корзину, бабка угрюмо двинулась вперед. Похоже, она решила попрощаться у магазина, то есть дойти до самой остановки – с ее-то хромотой, да по такой грязи. Но отговаривать ее Соня не стала: бесполезно. Помедлив, она направилась за бабкой, и в тот же миг чья-то рука перехватила у нее ремень дорожной сумки. Почти не удивившись, спокойно, будто так и надо, Соня разжала пальцы, сжимавшие ремень.

Теперь их было трое. Впереди Соня, налегке. Она не отводила глаз от озера с его туманными после дождей, еще зелеными холмами. За нею поспешала бабка, тоже налегке: охотник из Мытищ забрал себе корзину с пирогами.

Автобус был уже на остановке, но Соне повезло: она успела занять место у окна. Стоявшие в сторонке бабка и ее любимец пытались разглядеть ее через стекло, и Соня вдруг сообразила, что в суете не попрощалась с ними как следует. Пробравшись к выходу, она увидела вдруг со ступеньки своего милого: он торопился, почти бежал к автобусу со стороны Горы. О счастье!

Через минуту он виновато, спешно объяснял, что заработался, и на тебе – проспал, но слава Богу, успел хотя бы попрощаться. А Соня слушала его и ничего не понимала – кроме того, что вот сейчас она проснется в другой, ненужной жизни. «Чужой иль прожитой однажды, до этой муки, этой жажды», – запели в ней какие-то неузнанные строки. И оборвались: автобус загудел и тронулся. Соня вскочила на подножку и тут же обернулась – увидеть милого еще раз.

Они стояли рядом, все трое. Художник, очень прямой, высокий, сосредоточенно, почти сурово смотрел перед собой, как будто изучал чужую, но удивительно написанную вещь. Бабка с несчастным, напряженным, деревенеющим лицом разглядывала проплывающие мимо автобусные стекла. А Женя, мытищинский охотник, улыбался – легонько, кончиками губ.

Так они и перемещались вместе с Соней, эти трое: в автобусе, потом на верхней полке поезда «Архангельск», потом в метро, на улице, в подъезде, дома, на работе – всюду.

И разделить их было невозможно: бабка глядела мимо Сони непонимающими, мутными от слез глазами; художник, сдвинув брови, вникал в живое полотно; охотник улыбался.

Цена этой улыбки, входившей в стоимость квитанции с небес, задаром выписанной Соне, ошеломила ее еще тогда, на остановке. Но это мало что меняло, вернее ничего. Зато сама цена со временем менялась: росла все неуклонней, шла постоянно вверх – день ото дня, месяц из месяца.

Художник продолжал видаться с Соней. Он был по-прежнему хорош и нежен с ней, по-прежнему, хотя и реже, случались их прогулки и беседы, и он по-прежнему не знал – а может быть, боялся, не хотел узнать, – что он любим.

Лет семь спустя Соня лицом к лицу столкнулась с Женей из Мытищ – случайно, у Ярославского вокзала. «Дружок, ты похудела», – сказал он ей, ничуть не удивившись, как будто они виделись недавно, неделю-полторы назад. Сказал он это так просто, так свободно, что Соня поняла (хотя, сама не зная почему, ни разу за семь лет не усомнилась в этом): он всё помнит. Помнит о протекавших сапогах, о стеклышке в чулане, о море глины, через которое провел их с бабкой, забрав себе их ношу.

Внимательно, не отвечая, не улыбаясь она смотрела на него и видела перед собой любовь – ту разрезающую сердце бесконечность, тот горизонт, ту синюю черту, к которой, как на родину, летела ее душа.

И что теперь могло быть проще, чем оплатить квитанцию судьбы?

«**Душа встречается с судьбой...»**»

Душа встречается с судьбой,
и на единое мгновенье
жизнь обретает лад и строй,
глубокий, как сердцебиенье.

Горячий полдень, и покой,
и память, сплавленные туго.
Душа встречается с судьбой,
как люди, выстрадав друг друга.

Белая корзинка

*«Душа моя во мне,
я тот же, что и был»*

Радищев

Эту корзинку подарили мне домашние – в деревне, на день рождения. Она была доверху полна орехами, и сначала я больше обрадовалась им. Когда же орехи подошли к концу, объявилась сама корзиночка. Обычная, из белых ивовых прутьев, она была на редкость ладной – не большая, не маленькая, как раз по руке. Теперь, отправляясь в лес, я брала с собою только ее. Бывают такие правдивые, дружелюбные вещи, посмотришь на них в плохую минуту – и душа на место встает.

Мы обошли с этой корзинкой все ягодные места, и ни единого раза она не осталась пустой. В каком-то смысле белая корзинка могла служить символом нашей жизни – тех доверху полных, привычно прекрасных лет, когда каждое утро, проснувшись, чувствуешь себя на свете как дома.

Так, по-домашнему, и текла наша жизнь. Она текла, и каждый следующий поворот этой реки, жданный или неожиданный, был чем-то знаком нам, каждому можно было кивнуть при встрече и на прощанье. Но однажды за поворотом не оказалось ничего. Ни воды, ни воздуха, ни голоса, ни света – ничего, пустота, словно река ушла под землю.

В одной сказке дурачок развязывает мешок с несчастьями, и они разлетаются во все стороны. Миновало ли хоть одно несчастье нашу «сторону»? Есть у Даля поговорка: «И этого горя мало, и этой беды не достало». Как выяснилось вскоре, эта сосланная в словарь фольклорная премудрость была правдой – донельзя, до неправдоподобия точной и грозной.

Мы постарались глядеть этой правде в глаза – тем более что по-другому с ней не получалось. Как и все живые люди, мы кормили наше горе терпением, умиротворяли благодарностью за каждую легкую минуту, но спасения не было – беда не отходила.

Так прошел год. Потом другой. Настало лето.

Уже сходила земляника, очередь была за черникой, и медлить не приходилось. Жарким ясным утром я повесила на плечо матерчатую сумку с тремя банками, взяла свою белую корзинку и отправилась в лес. Никого не было на сумрачной, заваленной гниющими стволами старой дороге к черничным местам, и сама Барская (лучший на свете сосновый лес в полутора километрах от деревни), залитая солнцем, мирная, пустынная, казалась заколдованной.

Земляника еще не сошла, и так свежо пунцовела она в траве, что сердце заволновалось. И как много ее было! За полчаса наполнилась литровая банка, а земляничные «окошки» все открывались и открывались – только успевай собирать-закрывать.

Тут я и наткнулась на темный под соснами бугорок. Какой-то странной была его тень – слишком густой, слишком плотной. Только взглядевшись, я поняла, что это: передо мной лежал огромный живой черничный пирог – сплошь спелая, сизо-черная нетронутая черника. Очередь была за белой корзинкой. Дно ее стало черным уже через минуту, но рядом – о счастье, о ужас – и налево, и направо, и впереди всё было красно от земляники.

...Часа через два я наконец разогнула спину. Постояла с закрытыми глазами, вбирая в себя райский запах июля – благовонной горячей хвои. А когда невидящие глаза прозрели, они увидели на траве одну матерчатую сумку. Белой корзинки не было.

«Что ж, пойду искать» – почему-то вслух сказала я себе и тут же молча ответила: «Иголку в стоге сена». Так и вышло. Час, и второй, и третий бродила я от одного холмика к другому, от одного земляничного хранилища к следующему, в такой же точно травяной колее, под такой же березой, на таком же склоне, возле такого же муравейника. Одно только место

узналось сразу – затененный соснами черничный «пирог», где пошла в ход белая корзинка. Конечно, ее не было и там.

Пришлось возвращаться – без ног и без корзинки. Почему так саднила душа? Что угодно отдала бы, чем угодно откупилась от несчастья, которое все глубже внедрялось в нашу и без того обескровленную, оцепеневшую жизнь. Корзинка для ягод – это ли утрата? Это ли потеря? Но душа умней ума, и душа знала: белая корзинка, приветливая и простая вещь, уплыла по течению прежней жизни, которой принадлежала, ушла вслед за нею. Так и должно быть.

Назавтра настало новое тихое, жаркое, прекрасное утро. Это только горе стоит на месте. Стоит, как столб между «было» и «больно», и на всем серая тень от него. Еще через день июльский ливень принес с собой затяжные дожди, а там забрезжил август.

Время уже не текло, как раньше, просто вдруг обрывалось и пропадало. Миновал август. Деревня начала пустеть, как всегда в начале сентября. Разъехались со своими родителями деревенские, они же московские и ярославские, дети. Гранатово-алой стала черноплодка напротив. Начались белые от инея утренники. Иногда иней сверкал под темно-синим сентябрьским небом до полудня. Красота ведь ни в чем не виновата. Как говорил один святой: это у меня плохо, а у благодати хорошо.

В один из таких неземных сентябрьских полдней я пошла прощаться с Барской. Поднялась по сосновой дороге наверх, к огромному лесному полю, летом желтому от зверобоя. Со всех четырех сторон его окружал лес, земляничный, черничный, грибной, родной.

Облетевшие вершины лип и берез процеживали солнце, и под ними было светло – так, что сердце ломило от света. А дальше шел небольшой сосновый холм, пасмурный и тихий в любую погоду. Ни ягод, ни грибов здесь не росло, одна трава. За лето земляничную Барскую исходили десятки ног, исползали бесчисленные коленки, но сюда редко кто забредал, разве что невзначай, по ошибке.

Я вошла в тень – и вдруг поневоле, чьей-то нездешней подсказкой, чуть-чуть повернула голову влево (помню это короткое, бессознательное, странно точное движение). И увидела свою белую корзинку. Уже не белую – серебристо-древесную, как кора. Она стояла в траве, ладная, легкая, совершенно такая же, и первая моя мысль была: «Как же ее никто не увидел?»

Я взяла ее в руки – легкую, по-лесному чистую. Лишь дно стало густо-фиолетовым от выпитой дождями и солнцем черники.

Мешок с несчастьями, развязанный дурачком или дурочкой из сказки, он же ящик Пандоры, никто не завязал, не закрыл. Но время вернулось. Я стояла посреди леса, с серебристо-серой корзинкой в руках, и слушала, как течет под землей река нашей исчезнувшей жизни, как пульсирует она на поворотах, которые мне не дано видеть. Но у Бога дней много.

«Неужели такое бывает?..»

Неужели такое бывает? Но видишь – бывает:
над разбитою жизнью, над ямою горя без дна
сердоликовый месяц апрельский спокойно сияет
и цветет, вопреки холодам зацветает весна.

И кукушка кричит днем и ночью, и внятно, и звонко,
что увидит, своими глазами увидит спасение тот,
кто дошел до конца и нашел в себе сердце ребенка,
кто жалеет так чисто, так просто, как птица поет.

Кто не вспомнит о радости, вырванной заживо,
с кровью,
потому что не время прозябшей фиалке мешать.
Лишь тянуться за нею, тянуться – всей гибелью,
всею любовью,
и проснуться от счастья, и утренним солнцем дышать.

Тая и Рая

У Таи была корова, и у Раи была корова, и обе походили на своих хозяек. Тайна смиренная, рассудительная Дочка целыми днями паслась внизу, на речной луговине. Посмотришь в сторону реки – а там привычно перемещается уже вдоль берега черно-белое пятнышко, туда и обратно, туда и обратно. Этой воистину Божьей коровке пастух был ни к чему: она сама себя пасла.

А вот Раиной красно-рыжей Чайке без пастуха была беда и погибель – и ей, и всем нам. Укромному пастбищу у реки она предпочитала деревенские огороды и единственную в деревне улицу, по которой любила промчаться рысью, взмыкивая и глядя перед собой с той первобытной, дремучей дурью, от какой душа вмиг перелетает в пятки.

Вечерами, в одно и то же время, над деревней разносилось певучее: «Доча-Доча-Доча!» Это Тая звала свою буренку, и та с патриархальным «муу-у» брела навстречу хозяйке, предьявляя ей и всем вокруг огромное розовое вымя, наработанное за день.

Рая же Чайку не звала, а скучно и устало материла. Та на проклятья, естественно, не отзывалась, и начинались поиски. Иной раз они затягивались до ночи, и так каждый день.

Немудрено, что у главного продукта жизнедеятельности Дочки и Чайки совпадало только название – молоко. У работающей Дочки это была густая, пахучая, с восхитительной кремовой пенкой субстанция, у пропащей Чайки – белёсая водичка без цвета без запаха. Но поскольку вся деревня кормилась от Тайных-Раиных щедрот (у Таи было несколько постоянных стародавних клиентов, у Раи – все остальные), никто не роптал.

И всё было хорошо – *было бы* хорошо, если бы шалая Раина Чайка не возненавидела...нет, не свою смиренную соперницу, степенную Дочку, а ее хозяйку, Таю. Попугать-то Чайка любила – всех без исключения, без различия пола и возраста, но с этой бедой мы уже свыклись. Завидев на дороге красно-рыжее чудище, народ быстро растекался по окольным тропкам, на которые Чайка никогда не посягала. Все так привыкли к этому «никогда», что оно просто не могло не кончиться. И оно кончилось, скоро и скверно.

В один из тихих, мирно сияющих деревенских полдней дремавшая (или караулившая?) прямо на дороге Чайка узрела Таю, спешившую по своим делам на другой конец деревни. Заметив разбойную буренку, Тая проворно свернула на параллельную дороге тропку и пошла себе дальше, сокрушаясь о Чайкиной дури и ни о чем таком не помышляя.

Что было дальше, рассказывали две свидетельницы. Первая видела, как Чайка за доли секунды догнала Таю, сбила с ног и принялась бить и топтать, и копытами, и рогами, валяя по земле из стороны в сторону. Ни крикнуть, ни позвать на помощь Тая не успела, только прикрывала лицо руками. И если бы хозяйка тропки, на которой Чайка убивала Таю, не вышла в огород за салатом – кто знает, чем бы всё кончилось.

Второй свидетельницей была сама Тая. Недели две спустя она остановилась у нашей калитки и крикнула меня. Вместо Таи я увидела Тайну тень – так похудела и потемнела она. В правой руке – сплошной черно-желтый синяк вместо ладони – она держала крепкую, с оструганным острым концом палку. «Слышишь, – с ходу, не поздоровавшись начала она, – попроси Женю справиться тебе такую же и без нее не ходи. А увидишь Чайку – беги к забору, через забор ей не достать. И кричи, кричи! Обещаешь?»

Конечно, я обещала – и вот тогда-то испугалась, испугалась по-настоящему. Тая была домоседкой, по гостям не ходила. Наверное, ей хватало общения с погодой, с временами года, с семьей сына, навещавшего ее раз в месяц, с курами и тремя кошками, с великолепнейшим кустом золотых шаров на спуске к реке. А еще огород, картошка, еще сено для Дочки... За годы совместного существования в деревне она зашла ко мне только однажды, прошлой осенью, в октябре, когда все дачники, московские и ярославские, разъехались.

В ранних сумерках я подошла к окну – узнать, не кончился ли дождь, – и увидела на лавке под окном женщину в мужском дождевике. Вгляделась – Тая.

Я выбежала на крыльцо: «Тая, ты? Что случилось? Зайди!» Но она только поглядела на меня своими впалыми глазами и горестно помотала головой: «Телочка померла, а сказать некому. Вот, к тебе пришла. Посиди со мной».

Я села на мокрую скамейку, обняла Таю за плечи, мы помолчали, потом она ушла под проливным дождем.

...Без палки мы теперь не выходили, хотя надобность в ней отпала практически сразу. Рая отвела одичавшую Чайку в соседнюю деревню, к родне мужа, и там ее заперли в пустом хлеву. Можно было сделать это (давным-давно пора было сделать) и дома, в собственном хлеву-развалюхе, но, видимо, Рая боялась деревенских, и больше всех, конечно, Таю.

А между тем волну никто не гнал: милицию Тая не вызывала, к разгневанной обществу не обращалась, объясняться с Чайкиной хозяйкой не ходила. Всё было как всегда, всё шло своим чередом. Правда, мы перестали озираться, искать глазами, не залегла ли где поблизости красно-рыжая Раина чума. А когда уже привыкли жить без страха – к хорошему быстро привыкаешь, – деревню облетела новость, которая не умещалась, не укладывалась в сознании.

В соседнее Остеево, где содержалась пленная Чайка, зашли цыгане. Раин муж был пьян или хотел опохмелиться, денег у него не было, и он обменял дурную корову на бутылку. Наутро Рая, ночевавшая у себя дома, побежала в Остеево доить Чайку, а дверь в хлев настезь и в хлеву пусто...

Не слишком добрую, не слишком умную Раю жалели все. Все понимали, каково ей. Корова для деревенской женщины, любой, такой, как Тая, и такой, как Рая, – почти что смысл существования: опора, заработок, общение, уважение. Еще вчера жизнь Раи *шла*, со всеми ее досадами и просветами, с утренними и вечерними дойками, со свеженалитыми трехлитровыми и литровыми банками, с обменом хитрыми деревенскими новостями, с вечной заботой о сене: пора ли ворошить, успеет ли подсохнуть до дождей.

Шла – и остановилась.

...Мы малодушно обходили Раю стороной, чтоб не наткнуться лишний раз на ее непонимающий, как будто вынутый взгляд.

Однажды я принесла из лесу душицы со зверобоем и возилась с ними на подоконнике, куда обычно ставили цветы. Поворачивая букет то так, то эдак, чтобы золотой зверобой оказался на солнце, а лиловая душица – в тени, я ненароком подняла глаза и увидела Раю. Она брела куда-то, наклонив голову, замедленно, как беженка (наш дом как раз посреди деревни, и из окна мы видим всех идущих мимо). А ей навстречу, всё с той же палкой, тяжелой, острой на конце, двигалась Тая.

Заметив Раю, она вдруг зашпешила, заторопилась (а деревенским было доподлинно известно, что со дня Чайкиного душегубства Тая и Рая не встречались). Они сошлись напротив моего окна, и Тая бросилась к оцепеневшей Рае. «Какое горе, какое горе!» – громко, на всю деревню причитала Тая, и плакала, и обнимала ту, из-за которой едва не погибла. А я стояла у окна и, как античный хор в единственном числе, твердила вслед за плачущими: «Горе, какое горе!»

Я и не знала, что у старой Таи, родившейся в деревне, столь благородная родня. Хотя навряд ли Тая слышала о греческой царевне. Навряд ли ей было известно, как Антигона прощалась с жизнью. В какой момент произнесла слова, благодаря которым жизнь возможна – любая жизнь: «*Я рождена любить, не ненавидеть*».

Дождик

Летний дождик ходит-бродит,
шелестит едва-едва
и на память мне наводит
чьи-то давние слова.

Только чьи они, откуда,
кто так просто их сказал?
Невзначай набрел на чудо
и по имени назвал.

Кто расслышал в каплях с неба
детством веющую весть
и пошел за нею следом,
а далёко ли – Бог весть?

Летний дождик ходит-бродит,
ворожит и бережёт.
Недоверчивых обходит,
прочим радость раздает.

Дом с левой стороны

Дом в деревне не может быть один; он всегда между – соседи слева, соседи справа. И потому жизнь в деревенском доме всегда немножко подмостки, а соседи, хотя они иль нет, всегда немножко зрители. Сплошных заборов в деревнях не так уж много, и потому окно глядит в окно, крыльцо общается с крыльцом, и огороды рядом, и к мосткам ведет одна и та же тропка.

Дом соседей справа от нас был исключением из правил: стоял он не вдоль улицы, как прочие дома в деревне, а в глубине большого, с двумя сараями, участка, или усадьбы. Так далеко, что ни в одно окно не разглядишь, – не то что дом соседей слева. Его окошки гляделись в наши, а малина краснела по обе стороны ветхих штакетин между огородами.

Но дом этот давно был для нас только картинкой. Мы смотрели на него из кухонного окошка, сквозь разросшийся куст черноплодки, и радовались, что видна одна лишь крыша. Все остальное – крапива выше крыльца, остов холодильника возле колодца без воды, гниющих бревен (некогда сарай) и прочие приметы запустения – все затенялось празднично густой листвой и больше мнилось и мерещилось, чем виделось воочию.

История этого дома творилась на наших глазах, от лета к лету, когда мы переселялись в деревню и так или иначе наблюдали за происходящим у соседей. Хотя ведь «наблюдать» значит пытаться что-то уяснить, понять. А нам это и в голову не приходило – что можно разобратся в том, что происходит в соседнем доме: так перемененно и порывисто летела мимо нас их удивительная жизнь.

Со временем громкоголосая семья стала стихать и таять. А два десятилетия спустя соседское жилище опустело: в нем осталась одна старая мать с немолодым и нелюдимым сыном. Тогда и начали обозначаться печали утратившего нужность дома. Сначала накренился и, прежде чем рухнуть, так и простоял согбенным пару лет штакетник; крапива мигом заселила огород и окопалась у крыльца; сарай, вплотную примыкавший к дому, стал уменьшаться на глазах, словно решил, пока не поздно, уйти под землю.

Смотреть на всё это нам не хотелось. Еще скучнее было слушать, как старая хозяйка с утра до ночи то плачет, то бранится с сыном. А тот как пропадал на речке, так и пропадает. Уйдет с утра, и даже вечером увидишь на мостках худющую фигуру с удочкой.

Казалось бы, что нам их вечные проблемы? Но за десятки лет существования бок о бок мы сжились, почти сроднились с нашими соседями. И когда старая хозяйка вместе с сыном переселилась в город и перестала навещать отцовскую избу, мы, незаметно для себя, осиротели.

Сначала, правда, нам казалось, что напротив – дождались покоя. И так чудесно, так непривычно это было, что каждый день воспринимался как подарок. Но наслаждались мы покоем не так уж долго. По мере того как превращался в нежилые обжитый, ни дня не пустовавший прежде дом, теряла смысл и наша радость. Иной раз думалось: пускай бы они там кричали друг на друга, скандалили, рыдали – всё лучше, чем умирающее на глазах жилище и эта мутная, тучнеющая, как крапива, тишина.

И вдруг – незаменяемое в романах, но в жизни чаще устрашающее «вдруг», – до нас дошло, что в помощи нуждаемся мы сами. Наш аккуратный, милый, но очень старый дом пришел в упадок: полы уже не пели и скрипели, а ходили ходуном. Когда же вскрыли доски возле печки – ужаснулись: она держалась на честном слове и не сегодня, то уж завтра наверняка бы развалилась.

Ремонт, и капитальный, был неизбежен. Нашли рабочих (их рекомендовал надежный, уже имевший с ними дело человек), и те предупредили, что две-три недели дом будет непригоден для жилья, нужно искать пристанище на стороне.

Друзья нашли для нас два пустовавших дома. Но первый облюбовали крысы, а во втором гостили друзья наших друзей и мы, конечно же, стеснили б их. Как быть? Куда податься двум бездомным человекам?

Ремонт должен быть начаться через день. В окошко, сквозь пестревшую оранжевым и алым черноплодку (кончался август), я увидела, как на соседское крылечко поднялся человек, и машинально, про себя, отметила: Саша пришел с рыбалки, завтра уезжает. Любимый сын хозяйки, он стал теперь хозяином избы, но приезжал нечасто, раз или два за лето, с неделю пропадал на речке и исчезал. И тут я поняла, что делать.

Саша без звука отдал ключ от дома и удивился, что я благодарю его: «За что? Я только рад, что вы здесь поживете. Прости, что грязно».

Но дело было не в грязи, не только в ней. Поскольку рамы сгнили и больше чем наполовину выкрошились, Саша забил окна фанерой, оставив одно-единственное зрячее окошко, которое он тоже не открывал – оно могло рассыпаться в руках. Поэтому дышали в доме тем, что шло из-под земли: холодной глиной, плесенью и еще чем-то. Чем-то таким, о чем я запретила себе думать.

Мне удалось за полдня отмыть полы. А муж сменил прогнившие ступеньки на крыльце и сделал то, без чего жить в бездомном доме было невозможно: открыл окно и заменил труху надежной рамой из собственных запасов.

Рабочие приехали чинить наше жилище в прекраснейший из дней – веселый, теплый, сверкающий, как зеркало. Бывают дни такого света, что, кажется, конца ему не будет. Но сразу после нашего переселения настала темнота – в буквальном смысле слова.

Кой-как пережив ночь в чужой норе, мы заспешили к приоткрытому окошку и увидели в нем тяжелое, как перед снегом, стальное небо и дом, который погибал под этим небом, – наш собственный.

Его ломали легко и быстро, как коробок без спичек. Крыльцо – вполне сохранное, с перилами, где восседала обычно наша кошка, – погибло первым (а деревенский дом в отсутствие крылечка всегда нелеп, особенно такой простой и старенький, как наш). Мелькало в воздухе тряпье – оно использовалось вместо пакли. В распахнутые окна летели куски фанеры с наклеенными на них обоями, расколотый печной кирпич. С высокой, уже безлиственной рябины (поленница под ней была сплошь темно-алой от сыпавшихся ягод) свисали космы стекловаты.

А посреди куска земли, который вчера еще именовался огородом, росла гора из древесины, чудовищная груда бревен, досок, наваленных друг на друга как попало. Чего в ней только не было – от сорванной с петель старинной двери до каменной столешницы из дуба, зачем-то кем-то выброшенных вон.

И сразу, без оттяжки, начался ремонт. Дом возвращали к жизни так же лихо, как гробили его. За пять-шесть дней он был поставлен на фундамент (диковинно смотрелось это: как будто дом привстал на цыпочках, а опуститься не умеет). К началу следующей недели на крышу затащили лестницы, и это значило, что печь почти готова. Потом из черного пролома в крыше показался кирпично-красный кубик, а ближе к вечеру над домом возвышалась новорожденная труба.

Нам оставалось прятать удивление и молча ликовать: кончались холод, запах подполья. Еще неделя – и наш дом вернется к нам. Но ликовать не получалось: что-то не то было с этим ремонтом, неправильное что-то. Так, класть фундамент начинали одни люди, а завершали незнакомые, другие. Глину с водой мешал веселый Николай, но смесь с цементом готовил темнолицый, с чугунным взглядом Тимофей, которого вчера еще в деревне не было.

Последняя ремонтная неделя, третья, началась с исчезновения еще одного человека. А посреди недели исчезли все, и с бригадиром остался один чугуноглазый Тимофей. Им предстояло сделать невозможное – за три оставшихся до окончания срока дня настелить новые полы, обшить еловой планкой стены, заделать дыры и прорехи на фронте, срубить крыльцо,

исправить разломанные сени. (Нам тоже предстояла встреча с невозможным, хотя и совершенно в другом роде, но мы об этом не подозревали.)

Поскольку договора мы, смешные люди, не заключали, во всем доверившись рекомендациям своего друга, настаивать на сроках было бесполезно. Ждать, мерзнуть, делать вид, что всё в порядке, – вот всё, что мы могли.

И еще странствовать, конечно. Набрав в запас плащей и курток – дожди, порой со снегом, не прекращались, – мы уходили в лес. Усыпанные хвоей и листвой дороги прекрасны, дождь только усугубляет их красоту.

Мы выбирали дальние маршруты, чаще тот, что вел в брусничник, за тридевять земель. Сосны цвета оранжевых углей стояли на мягко-изумрудном фоне мха просторно, вольно, порознь. Дождь пригасил оранжевое, сырость замглаила блеск брусничника. И эта пасмурная красота была лекарством из лекарств.

Мы досыта дышали мокрой хвоей, срезали вымытые сыростью лисички – они во множестве росли на травянистой дороге среди сосен – ив ранних сумерках, продрогнув, брели домой.

В один из этих темных, неподвижных дней мы, возвращаясь с нашей обычной затяжной прогулки, заметили в деревне яркий свет. Горел какой-то ближний дом – не страшным алым пламенем, а электрическим огнем. Какой? Уж не соседский ли, не тот, который справа? Его хозяйка уезжала одной из первых: она была учительницей, преподавала в Костроме литературу. На крашенных дверях ее избы давно уже, со дня ее отъезда, висел замок.

О Господи, что там могло случиться? Но дом, знакомый нам как собственный (а где еще узнать погоду, разжиться хлебом, взглянуть на грядки? Кого из деревенских первым позвать на именины, на смородинный пирог), – дом с правой стороны был темен, замок висел на месте. Всё с ним было в порядке. А с нами – нет.

...Незабываемое это было зрелище: иллюминированная деревянная коробка с распахнутыми настежь окнами. Дождь, темень, тишина. Ни человека, ни приبلудной кошки. Но тишина была неполной: еле-еле, как сквозь вату, в тумане проступали звуки – не то гармошка, не то крики. Наверное, на том конце деревни справляли праздник.

Мы постояли, послушали. Потом вошли в горящий без огня, без дыма дом – свой собственный, пустой, с доской-мостками над провалом пола. Закрыли окна, выключили свет, еще немного постояли с ним рядом в темноте. И побрели в свое убежище, в свою ночлежку с левой стороны.

Назавтра мы узнали, кто праздновал и почему. Как оказалось, бригадир, великолепный плотник и печник, был тяжелейший пьяница. Сдерживаясь от запоя, он вымещал свою тоску по алкоголю на рабочих: замучивал работой и выгонял без объяснений. На том конце деревни жили люди, осведомленные об этом. Они пришли в наше отсутствие с бутылкой, и бригадир сорвался, отправился за ними – пить, исполняя между делом всё, в чем нуждались те, кто его подпаивал: заделывать прорехи в крыше, подмазывать рассевшуюся печь, менять подгнившие столбы и прочее. Чугунноглазый Тимофей, как верный пес, не отлучался от него ни на минуту.

Через три дня они вернулись, и бригадир, не поднимая глаз, сказал, что «к послезавтрему всё будет». Действительно, весь день стучали молотки, под вечер были настланы полы, вчерне обшиты стены.

Но утром – «север, запад, юг в развале; пали троны, царства пали»... Утром случилось невозможное – то самое, которое не обойти, не отменить. С которым не справятся ни гнев, ни здравый смысл, ни осторожность.

Весь месяц, наблюдая за происходящим, мы понимали: случиться может что угодно. Разборки изгнанных рабочих с бригадиром, пожар, внезапная зима. Но пришло – не где-то и к кому-то, а к нам, сейчас, сегодня – то, от чего за полминуты пало тридцатилетнее, привычное и милое нам царство деревенской жизни.

... Темно и тихо было тем утром в нашем доме, зато горели окна в доме справа и что-то там гремело, грохотало, рушилось. Я бросилась туда.

Замок был сорван. В прибранном на зиму холодном помещении стояло густое глиняное облако, в котором черными тенями перемещались бригадир и Тимофей. Они крушили печь соседки. Предупреждая мой вопрос, вернее крик, бригадир выбрался из облака и буднично кивнул: «Ага, мы здесь. И не уйдем, пока не кончим. Достала нас ваша соседка. – (Дальше шло непроносимое, грязнее некуда). – Названивает двадцать раз на дню: „Давай-давай! Скорей! Я заплачу-переплачу!“ Так что сидите ждите. А вообще – пошло всё...»

И занавес из дымной глины опустился. Но тут же поднялся еще на полминуты – пока я объясняла бригадиру, что инструменты их и вещи будут за порогом. Что беспокоить нас не нужно, ни завтра, ни потом. Что не доделанное ими – крыльцо, фронтон, проводка, сени и т. д. – доделаем мы сами. Ремонт окончен.

Муж ждал меня в нашем пристанище, нашем приюте с левой стороны. А я, войдя, увидела – до рези ясными, как только что промытыми глазами, – иную комнату, не ту, что видела обычно. Стены в доисторических открытках с мимозой и котятками, бумажные иконки, заношенные телогрейки и бушлаты на веревке над кроватью, свалка постельного белья в углу, раздолбанная швейная машинка на комод – где всё это? Ни грязи, ни убожества, ни горького непонимания, зачем мы здесь. И даже холод отступил: старая плитка горела днем и ночью и воздух наконец согрелся, стал пригодным для жилья.

Я видела наш завтрак на столе – кофейник, две чашки, гренки с сыром. Рядом с подносом, в стеклянной вазе, рябиновая гроздь. Комод с наброшенной на швейную машинку тонкой шалью. Там же магнитофон и стопка дисков: Бах, Шуберт, Гайдн. Чистая, застланная пледом постель в углу (бушлаты с телогрейками на время перекочевали в кладовую). На верхней полке допотопного серванта – книги (все, что там было: розетки, пепельницы, пустые банки из-под кофе, я выгребла и разместила снизу).

Это был дом, хороший дом, в котором можно разговаривать, молчать, обедать, думать. Можно спокойно засыпать и просыпаться. Но – как там в «Синей птице»? – «прощайте, прощайте, пора нам уходить...»

Встревоженные глаза мужа спрашивали, что произошло. Я объяснила, следя за голосом и за руками: дрожь заразительна. Мы подогрели кофе, забыли про него и стали молча собираться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.